

*Кю
Маклир
Птицы
Искусство
Жизнь:
год
наблю-
дений*

Кио Маклир

Птицы, искусство, жизнь: год наблюдений

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=59018861

Птицы, искусство, жизнь. год наблюдений: Ад Маргинем Пресс;

Москва; 2020

ISBN 978-5-91103-560-0

Аннотация

В книге «Птицы, искусство, жизнь: год наблюдений» Кио Маклир отправляется в орнитологическое путешествие по большому городу и на своем пути размышляет о природе творчества и поисках осмысленной жизни. Оказавшись в сложной жизненной ситуации, рассказчица открывает для себя мир «бёрдинга», наблюдений за птицами. С одной стороны, эссе, исследующее наши взаимоотношения с окружающей природой, с другой – упражнение в искусстве приметливости и дневник наблюдений за собой. Птицы для Маклир становятся тем же, чем были грибы для Джона Кейджа, бабочки для Владимира Набокова или пчелы для Сильвии Плат – внешним толчком к внутреннему путешествию. На более глубинном уровне Маклир поднимает вопросы о том, как нас формируют и воспитывают параллельные увлечения, и как мы можем прийти к тому, чтобы

бережно относиться не только к девственным природным местам в мире, но и к пятнистым городским пространствам, в которых мы живем.

Содержание

Зима	7
Декабрь	22
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Кио Маклир

Птицы, искусство, жизнь: год наблюдений

Издательство благодарит Рахчееву Марию Витальевну, директора Государственного биологического музея им. К. А. Тимирязева, за помощь в подготовке настоящего издания

This edition published by arrangement with Westwood Creative Artists and Synopsis Literary Agency

Birds Art Life Death –

Copyright © Кио Maclear, 2017

© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2020

© Кио Maclear, 2017

© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2020



Дэвиду

В воздухе птичьи крики – как бриллианты в

оправе.
Эни Карсон



Зима

Пролог

о том, как сталкиваешься с болезнью отца и обнаруживаешь, что скорбь принимает самые неожиданные формы, в том числе форму жажды странствий

Как-то зимой, пару лет назад, я познакомилась с одним музыкантом, любителем птиц. Музыкант – тогда ему было немного за тридцать – обнаружил, что не всегда может совладать со стрессами и разочарованиями, которыми чревата жизнь творческого человека в большом городе. Бренчать на рояле, как Фэтс Уоллер, в свое удовольствие – это он обожал, но необходимость выступать на публике и самому заниматься своей раскруткой нервировала и нагоняла тоску. Изредка от тоски был прок: она вдохновляла на печальные песни про любовь, но в основном лишь пожирала его изнутри. Когда же он страстно увлекся птицами и начал их фотографировать, нервозность как рукой сняло. Птичье пение напоминало ему, что хватит зацикливаться на себе – пора оглянуться по сторонам.

Дело было той самой зимой, которая пришла слишком рано. Снег валил непрерывно. Помню, по радио какой-то ведущий обронил: «Глобальное потепление? Ха!» А еще той зимой я обнаружила, что во мне что-то поломалось. Что

именно, я не знала, а знала только, что забарахлила неведомая деталь, которая прежде, размеренно вращаясь, помогала мне не выбиваться из графика. Я поглядывала на тех людей вокруг, кто по-прежнему успешно справлялся со всем – дирижировал приготовлением обедов, карьерой и детьми. Как же мне хотелось, чтобы мне напомнили, как это сделать. Я-то сбилась с ритма.

За некоторое время до начала зимы у моего отца случилось два инсульта. Оба раза – а было это еще до листопада – он падал и сам уже встать не мог. Второе падение напугало нас вконец: из-за сепсиса у него опасно повысилась температура, и я сомневалась, что он выкарабкается. При МРТ обнаружили микрочаги геморрагического пропитывания, расползавшиеся от лопнувших в его мозгу капилляров. И при той же МРТ – неразорвавшаяся аневризма головного мозга. «Случайное открытие», – так выразился невролог, когда мы взволнованно уставились на него, а он обосновал, ссылаясь на возраст моего отца, решение воздержаться от операции.

Осенью, в те несколько месяцев, когда прогнозы касательно здоровья отца были крайне туманными, мне казалось, что я разучилась подбирать слова. Я не говорила о попискивании мониторов в стандартизированных больничных палатах и о ритмичном лязге лоханей с грязным постельным бельем, которые санитары везли на тележках по коридорам. Не делилась вслух тем, что думала о бессердечном дефици-

те койко-мест (отец два дня пролежал на каталке в коридоре, под тонким одеялом – его безволосые голени и бескров-ные ступни укутать было особо нечем), о запахе больничных буфетов и странной притягательности кушеток в приемных: обиты скользким винилом, зеленые, как сельдерей, обманчиво-мягкие на вид. Не говорила, какое облегчение поздно ночью вернуться к себе, войти в примолкший дом и наполнить ванну, поднырнуть под слой пены и закрыть глаза; тихое облегчение от соприкосновения с мылом, от того, что смы-ваешь грязь с себя, а не отмываешь другого, от того, что ты, женщина (а женщинам общество внушает, что их дело – утешать других), теперь утешаешься сама. Не говорила о предчувствии скорой утраты. Не знала, как размышлять о болез-ни, которая развивалась медленно и непредсказуемо, но могла скосить человека в мгновение ока.

Итак, слова ускользали от меня – в жизни, но и в литера-туре тоже. Когда я улучала минутку для работы, меня часто клонило в сон. Укращение слов, чтобы те выстраивались во фразы, фразы – в абзацы, а абзацы – в целостные тексты, тре-бовало хлопот, изматывало. Казалось, это слишком замыс-ловатое дело, а польза от него сомнительна. Теперь я седи-лась работать, сознавая, что отец – а он-то и привил мне лю-бовь к слову, подтолкнул в сторону писательского поприща – сейчас стремительно теряет слова.

Хотя самый опасный этап кризиса быстро миновал, я бо-ялась отлучиться со своего неофициального дежурства. Бо-

ялась – стоит переключиться на что-то еще, и я окажусь не готова к надвигающейся утрате, и она меня раздавит. От отца (в прошлом военного корреспондента, то есть профессионального пессимиста) я унаследовала убеждение, что ожидание наихудшего варианта событий может быть своеобразным щитом. Мы верили в то, что нервничать загодя – значит предотвратить беду.

Либо, возможно, меня накрыло так называемое «опережающее горе», – та скорбь, которая возникает накануне неотвратимой утраты. Опережающее. Предвосхищающее. Колотящееся в висках. Это горе было наподобие моросящего дождя. Не промочило меня до костей, не утопило, а повисло в воздухе каким-то бледным облаком, редая, но никогда не испаряясь без остатка. Увязывалось за мной, куда бы я ни направлялась, и я постепенно привыкла видеть всё вокруг сквозь его пелену.

Мне всегда казалось, что скорбь ощущаешь как печаль, не разбавленную другими чувствами. Образы чужой скорби я почерпнула из учебы в художественной школе: например, видела на портретах женщин, оплакивающих кого-то. Их головы склонены, лица закрыты руками, они рыдают, озаренные свечами. Но опережающее горе, как я с удивлением обнаружила, требовало других визуальных образов, более бдительной позы. Я была обязана либо оставаться на ногах, либо сидеть не спуская глаз со всех сторон света одновременно. словно те женщины в Северной Америке в XIX веке,

которые – если верить легендам – вышагивали взад-вперед по обнесенным перилами помостам на крышах прибрежных домов, высматривая, не возвращается ли в порт судно; потому-то эти вышки прозвали «вдовьими балконами». Я была дозорным – высматривала на горизонте, с любого румба роковую тучу.

Лишь впоследствии, прочитав книгу К. С. Льюиса «Исследуя скорбь», я поняла, что у скорби много личин и итераций. «Мне никто никогда не говорил, что скорбь по ощущениям очень похожа на страх... А точнее, пожалуй, на томительное беспокойство, – написал Льюис. – Или на ожидание; просто слоняешься из угла в угол, дожидаясь чего-то. И потому чувствуешь себя в жизни временным – навечно временным – постояльцем. За какое дело ни возьмись, кажется, что его бессмысленно даже начинать. Не можешь усидеть на месте...».

Груз скорби не опрокидывал мою жизнь вверх тормашками. Например, не мешал мне общаться с друзьями, заниматься спортом или разыскивать флердоранжевую эссенцию для пирога по новому рецепту. Не мешал в студии йоги, полной народу, принять позу трупа – изобразить, будто я сама тоже на пороге небытия. Но этот груз сорвал меня с якорей и служил подтекстом каждому дню моей жизни.

Однажды вечером я посмотрелась в зеркало и заметила, что брови у меня встали домиком. Попыталась расслабить мышцы: пусть брови будут словно бы не мои, а чужие, по-

заимствованные у беззаботных. На следующий день, сидя в трамвае, я разглядывала женщину с аккуратно прорисованными бровями и думала, что эти тонюсенькие невротические дуги над глазами превращают ее в карикатурное олицетворение беспокойства. И я тоже кажусь такой, сказала я себе, и все люди на свете.

Груз волнений давил на плечи, и я пыталась его сбросить. Пыталась сбежать от него в чтение. Пыталась на что-нибудь отвлечься. Пыталась написать что-то, что сожжет его дотла. Обычно моему творчеству всё было нипочем – и натиск жизни, и заботы о маленьких детях и дряхлеющих родителях. Но в тот год, год ранних снегопадов, я обнаружила, что писательский дар у меня какой-то чахлый и шаткий: первое же дуновение эмоциональной бури валит его наземь, совсем как ветер – дешевые рекламные штендеры на тротуарах.

А может, причина была другая, может, я открыла для себя кое-что посущественнее: беспокойство стесняет тебя, как тиски. Когда от проблем ум за разум заходит, мыслишь узко. Навязанные ограничения не способствуют творчеству. Для творчества нужны аморфный и неоглядный душевный покой, мечтательные грезы, которым невозможно предаваться прилюдно, увольнительная на берег, чтобы отдохнуть от всепоглощающего океана повседневных забот.

Я стала относиться к времени, точно капризный ребенок. Мне хотелось, чтобы времени у меня была уйма: толстый-толстый пласт. Но нет – хочу тоненький ломтик. Что-то

слишком быстро оно бежит. Что-то слишком медленно оно ползет. Время рабски подчиняется силам, над которыми я не властна. Но если я могу распоряжаться временем по своему усмотрению и как-то не нахожу ему применения – руки опускаются. Лучшее время бывает поздно ночью, когда наш район уже спит. От времени есть хоть какой-то прок лишь ранним утром, пока район еще спит, пока время не разграфлено на часы и минуты.

Как же я свыклась с тем, что мою жизнь то и дело прерывали срочные телефонные звонки и известия из больницы – стала сама ее прерывать, едва сяду поработать. Раз в полчаса вскакивала, словно по будильнику. Раньше время было глубже, говорила я себе.

Я присматривалась к бровям своих любимых писателей, художников и актеров. Изучала знаменитые брови. Фрида. Одри. Грета. Граучо. «Вполне возможно, брови – карта души», – извещал какой-то модный журнал. Я искала секретный рецепт (безукоризненная элегантность, театральная броскость, креативная разлохмаченность, кокетливый задор), который дает жизненные силы и ведет к благоденствию. Хотела отыскать карту, которая укажет мне путь обратно, где я снова обрету творческую жилку и самообладание.

Однажды утром, у стойки в кофейне, созерцая роскошные густые брови мужчины, варившего мне кофе, я обнаружила, что не стоит слишком долго всматриваться в лица, если ты

не готова к новым влюбленностям. Глядя, как его очки запотевают – на них оседал полупрозрачный пар, валивший от кофемашины, – наблюдая, как за пеленой этого тумана он щурится, рисуя на пенке моего кофе цветок, я почувствовала прилив любви. Лица – это же настолько интимная часть тела, что смотреть на них вряд ли позволительно, особенно в мире, где рано или поздно всё рассыпается в прах. Нелегко смотреть на лица так, как мы пытаемся смотреть, – так, чтобы их зрелище не оставляло следов в наших сердцах.

Мужчина – совсем как я – выглядел очень усталым. Что он потерял? Что он вот-вот потеряет? Может, пытается пережить скорбь загодя, досрочно?

Спустя несколько дней, в фитнес-центре, меня очаровал другой мужчина – заботливо вытер беговую дорожку, чтобы мне было удобнее. И мануальный терапевт очаровал: по телу разлились эндорфины, когда он наклонился проработать болевые зоны. Очаровала доброта незнакомки, пропустившей меня без очереди в овощном. Профессор, менеджер кофейни, прохожий с собакой – с каждым из них я мысленно сбегала из дому и начала сама себя бояться, потому что в нашем роду есть долгая традиция донжуанства. «Будь осторожна, – шептал ангел-хранитель на моем плече. – Не забывай, как сильно любишь мужа».



«Первая королева
дерзких бровей»
(Одри Хепбёрн)



«Брови, неизменно
приподнятые
в легком изумлении»
(Энн Карсон)



«Выгнув брови
под углом
в десять градусов»
(Бастер Китон)



«Брови густые,
черные, выразительные»

В глубине души я знала, что влюбляться в какого-нибудь человека, в кого-то, кроме своего мужа, не желаю. Желание у меня другое: влюбиться во что-нибудь, что грандиознее людей. Что-то завлекательное для меня и моего помутившегося рассудка. Ввязаться во что-то, что сродни страстной любовной связи, что даст мне возможность заявить: «Я здесь, я живой человек», «я чем-то занята, а не только хладнокровно готовлюсь вытерпеть горе». Мне мало быть бдительным огнем маяка, огнем, который заточен в фонаре и горит круглосуточно.

Когда мои дни были расписаны по минутам, а затем и по секундам, меня одолела неизлечимая жажда странствий. (Есть такое слово *wanderlust*, от немецких «wandern» – «странствовать пешком» и «lust» – «желание».)

Я начала завидовать тем, кто шатается по свету в буквальном смысле – блуждает в сумраке в открытом море, всё бросает, чтобы штурмовать горы или шагать по Маршруту тихоокеанского хребта¹. Я мечтала идти по тропе, следуя за отпечатками чьих-то ног, забраться туда, где живут дикие звери. Но к путешественникам, которых влечет в дебри, я никогда не принадлежала. Я была горожанкой, чья стихия – мегаполис. Моим убеждениям была чужда идея колониальных за-

¹ Маршрут тихоокеанского хребта – пешеходный и конный туристический маршрут протяженностью 4279 километров в горах вдоль Тихоокеанского побережья США от границы с Мексикой до границы с Канадой. *Здесь и далее приводятся примечания переводчика.*

воеваний.

Мне становилось тошно от одной мысли, что на планете, охваченной глобальным потеплением, я вдруг стану ахать, указывая рукой на какие-то феерические красоты. Вот в каком я была настроении. Чувство предсмерти разлилось по жилам. Предчувствие финала в собственной семье заставило меня подмечать вокруг всё, чему тоже может прийти конец.

Смерть – по определению признак того, что мир конечен. Мне стало казаться, что моя жажда странствий – попытка найти дорогу назад к бесконечности, назад в чашу, где пребывает творческий и созерцательный ум.

Мне снова приснились отпечатки ног на тропе, и, проснувшись, я осознала, чего на самом деле жажду – не удариться в бега, а найти себе проводника. Несколько недель я спрашивала совета везде куда ни зайду. Пожалуйста, спасатель из бассейна ИМКА, как мне, по-вашему, усовершенствоваться в плавании вольным стилем? Пожалуйста, зеленщица с замысловатой прической, не расскажете ли мне, как готовить эту горькую зелень? Я нуждалась в словах, несущих знания. Нуждалась в общении.

Мне хотелось, чтобы кто-то шел впереди и побуждал меня идти без остановки. Нет, не спаситель мне требовался – а сила, которая повела бы меня за собой. Я была готова подвергнуться импринтингу, словно утенок.

Я обратилась к одной известной художнице – не согласится ли она давать индивидуальные уроки рисования? В

детстве я всё время рисовала. Это была всепоглощающая страсть. В какой-то момент писательство вытеснило занятия искусством, и моя бывшая вторая натура (рисование) стала для меня чем-то вроде иностранного языка в противоположность родному. Но тяга к рисованию не проходила. Я сучала по простой и первозданной радости, которую оно дает.

Художница встретилась со мной в кафе: пришла в черной зимней куртке, с невесомым серо-голубым шарфом на шее, с сомнением на лице – мол, да туда ли я пришла? – которое не исчезло, даже когда я подошла к ней и представилась. Когда она заказала маленькую чашку зеленого чая, я заказала то же самое, компанейски подтверждая правильность ее выбора. Когда она приосанилась, я инстинктивно тоже приосанилась. Когда она спросила, почему я хочу учиться у нее рисованию, я ответила: «Иногда хочется просто расслабиться и довериться чьим-то указаниям». И, сообразив, что в этом сквозят странная пассивность и жажда заполучить себе мессию, добавила: «Подсказкам, что и как нарисовать». А вдруг она подумает, будто я ищу себе гуру или запросто готова кому-то беспрекословно подчиняться? А вдруг она почувствует, какая жажда меня снедает? Ведь мне казалось, что жаждать чего-то так сильно, как я тогда жаждала, – почти что похоть.

Художница уставилась на меня в глубокой задумчивости. Глаза у нее были синие, прозрачные, аккуратно подкрашенные. Наконец, она заговорила, и в ее голосе звучала легкая

озадаченность. Сказала, что учеников, которые к ней приходят, всегда снедает жажда. Это начинающие художники семнадцати лет и отошедшие от дел бизнесмены восьмидесяти пяти лет. Одни оплакивают свой не востребованный талант, другие растратили его не на то, третьи сохранили его в неприкосновенности. Их томительная жажда – словно белый пух одуванчика. А ей остается только тихо дунуть и увидеть, как зародыши творений поднимутся в воздух, разлетятся и дадут всходы.

Мы сидели у окна и смотрели на комья свежего снега, взметаемые ногами прохожих, на трепет крыльев – вспугнутая стая голубей взлетела в зимнее, успевшее побелеть небо. Ангелы света, плотные тени, небо то заволакивалось облаками, то очищалось, трамваи то заглатывали, то отрыгивали пассажиров. Я чувствовала, что художница вбирает эти впечатления каждой клеточкой тела, а еще я чувствовала, как идет время. Взглянула на другую сторону улицы, на вывески магазина распродаж.

*НЕ ЗЕВАЙ – НАЛЕТАЙ!
ВСЕМ СЕСТРАМ – ПО ТУФЕЛЬКАМ!
КАЖДОМУ, КТО ЗАЙДЕТ, – ДЮЖИНА ЕНОВ
БЕСПЛАТНО!²*

И тут же поняла, что не жажду брать индивидуальные уроки рисования у этой женщины, которая, если честно, нерви-

² В Торонто много шутят о проблеме диких енотов в городе. Их прозвали «мусорными пандами».

ровала меня своей молчаливой сосредоточенностью и прямой, как шляпная булавка, спиной.

Я вернулась домой, достала свои допотопные кисточки, перья, пузырьки с засохшей тушью. Потратила какое-то время на затачивание карандашей и очистку засохших серых ластиков. Нашла блок бумаги для рисования. Посмотрела на заточенные карандаши – и они на мгновение превратились в стрелки. Эти стрелки указывали на всё, что невозможно передать словами, на все другие возможные жизни, на потенциальные ходы и направления, даже на пути к отступлению. Я сидела и ждала, пока меня поведет за собой линия – на сей раз карандашная на альбомном листе, а не чернильная на тетрадной странице.

В этот момент затишья я осознала, что, наверно, уделяю скорби слишком много времени, а потому мне некогда находить радость в повседневной жизни.

Пока я сидела над этими стрелками, пока болезнь и заботы о больном всё сильнее спрессовывали мои дни до мизерных мгновений, во мне крепло чувство, что моя теперешняя жизнь с ее новым распорядком и новыми обязанностями требует распределять время иначе, не так жестко, как раньше. А если я больше не буду бороться за гипнотический транс долгих, как эпопеи, дней, которые я, никем не потревоженная, целеустремленно посвящала бы какой-то грандиозной работе? А если я отдамся на милость времени, расщепленному на кусочки? Смогу ли я ценить эти разрознен-

ные мгновения, избавиться от мысли, что они – всего лишь «недовремя», потерянное время, обрывки времени? Смогу ли я найти грациозный способ работать и взаимодействовать с миром – такой, чтобы все-таки воспарять мыслью и продвигаться вперед?

Как бы мне хотелось сказать, что в последующие недели и месяцы я избавилась от чувства, что воюю со всем миром, – но нет, не избавилась. Я писательница и работаю сама на себя. Нелегко удержаться от того, чтобы оставаться неуправляемым бульдозером. (Спросите у вилорога, который и нынче удирает со всех ног от призраков давно вымерших хищников.) Я всё равно пыталась обороняться и отгораживаться от разбойников, отнимающих время, всё равно жила так, словно поглощена неустанными хлопотами, старалась не сосредоточиваться ни на чем, кроме того, что у меня на уме, и того, что я, возможно, все-таки напишу.

Но все-таки начала примиряться с отрывочностью своей жизни.

Декабрь

Любовь

гуси, лебеди, утки, сокол и голубь

о начале влюбленности в птиц, а также о других неожиданных-негаданных уроках смирения

А потом появились птицы: глянула – да они везде. Их голоса доносились до меня отовсюду – из крон деревьев и из-под стрех нашего дома: праздные хоры, щебечущие и распевующие, и их песни – одни красивые, другие крикливые, третьи – так, от нечего делать. Однажды среди бела дня, когда я пошла с сыновьями кататься на коньках, высоко над катком уселся сокол. А когда я плавала кролем в бассейне ИМКА, то разглядела за стеклянной крышей стаю перелетных гусей. Она двигалась – ни дать ни взять, гигантский курсор – по белому, совершенно плоскому небу.

Как-то вечером, вернувшись из больницы – то есть от отца, я свернулась калачиком на диване в студии моего мужа: он композитор. От меня воняло антисептиком «Пурелл» и тем потом, в который бросает от наигранной жизнерадостности. Нигде на свете душа так не успокаивается, как в этой студии. Стены обтянуты голубой материей и покрыты серыми звукоизоляционными панелями. Они из волнистого пенополиуретана и благодаря своей форме гасят эхо и заглушают посторонние звуки. Плавающий пол дополнительно

ослаблял ударные шумы. В уюте студии я прямо-таки растворилась: привольно, как в материнском лоне.

Муж поставил то, что сочинил для какого-то фильма, – бесплотную, словно привидение, вещь для фортепиано с оркестром. Я была в его шляпе – стащила ее с вешалки. Завернулась в шерстяной кардиган, который он донашивал за своим дедушкой, закинула ноги на журнальный столик, купленный мужем в секонд-хенде. Муж поставил The Swan Silvertones³, и мою душу переполнили госпелы: хлопки в ладоши, безукоризненное многоголосие.

Мы вместе посмотрели черновую сборку фильма, к которому муж в то время писал музыку. Фильм был документальный, по книге одного канадского писателя, и назывался «15 причин жить». Он состоял из пятнадцати сюжетов, примерно соответствующих главам книги, в нем ставился вопрос, что есть в жизни такого, ради чего стоит жить.

Например, в сюжете «Любовь» авторы проследили путь одного квебекца, который, выздоравливая после нервного срыва, отправился в пешее кругосветное путешествие и таким способом вернул себе душевный покой. «Тело» – история человека, который устал от приступов гнева, не дававших ему ничего делать, и занялся искусством балансировки камней⁴. В середине фильма, в сюжете «Смысл», на экране

³ The Swan Silvertones – американская музыкальная группа, работавшая в жанре госпел. Стала популярной в 40–50-е годы XX века.

⁴ Балансировка камней – умение располагать природные камни один на другом

появился музыкант лет тридцати с небольшим. Много лет он изнывал от творческого кризиса, а потом бросил пить и обрел умиротворенность в наблюдениях за птицами в городской среде. «Я отдался этому без долгих размышлений. И мне прямо-таки полегчало. Стало легко на сердце», – сказал он.

Он обнаружил, что его радость имеет форму птицы.

Говорил музыкант остроумно, а улыбался тихо-тихо – не было в нем ни капли нахрапистости. Оставалось впечатление, что птицами он увлечен горячо, но без пафосного придыхания.

В тот же вечер я посмотрела на сайте музыканта его фотографии птиц. Собрание было обширное и нетипичное. Таких снимков не увидишь на поздравительных открытках или в глянцевах календарях.

Эти птицы живут в садах из стали, стекла, бетона и электрического тока.

Птица, чье «личико» закрыто пластиковым пакетом «ЗАМОРОЖЕННЫЕ МАНГО», другая птица сидит в гнезде внутри разбитого уличного фонаря. Птицы на безвкусных оштукатуренных стенах, связках арматурных прутьев, гигантских кованых гвоздях и заборах из колючей проволоки. Птицы заняты обычными птичьими делами – сидят, порхают, чистят перышки, охотятся, выют гнезда – но нельзя

так, чтобы они оставались в равновесии. Использование клея, тросов, подпорок или колец не допускается.

усомниться в том, что они – часть этого мира со всей его неустроенностью, грязью и мусором, они отнюдь не выше всего этого.

Идея, выраженная в этих фотографиях, имела мало общего с шаблонными предостережениями типа «Халатное отношение к природе преступно» или «Планета на пороге гибели». Их идея, если ее вообще можно так назвать, – не что иное, как идея любви. И это не любовь к хорошенькой девушке и не та любовь, когда любимых водружают на пьедестал или засовывают под стекло в коллекции. Не та любовь, которая сшибает нас с ног, заставляет томиться жаждой, ногами не смыкать глаз – ворочаться, места себе не находя. Эта любовь не идеализирует и не стремится к обладанию. Любовь, которую я почувствовала в его снимках, – это любовь ко всему несовершенному и неприкаянному. Любовь к тем грязным, неказистым, прекрасным, забавным местам, которые многие из нас называют родиной.

Мое сердце забилося чуть-чуть быстрее, когда я смотрела на них – на птиц и на окружающее их пространство.

Росла я наособицу, дожидаясь, пока мир притихнет, выстроившись вокруг какого-то связного сюжета. Я выросла отшельницей, потому что я единственный ребенок в семье немолодых иммигрантов, которые сбежали из своих стран – она из одной, он из другой – на континент, где у них не было родственников, отчеркнули поперечной чертой прошлый этап своих биографий, устроились на этой земле, как два

растения в горшках, а не как деревья, пускающие корни в почву. Я выросла отшельницей, потому что я писатель и мое ремесло требует, чтобы я от всех держалась поодаль. Не это ли увидела я в пространстве, окружавшем птиц? Собственное отшельничество?

Я разыскала музыканта и договорилась об орнитологической прогулке. Мне хотелось впасть в экстаз и почувствовать, что я еще не глуха к вдохновению. Я не воображала, что природа – мой личный Лурд⁵, целительный оазис посреди цивилизации.

Но, может, все-таки воображала.

– Здравсьте? – произнес музыкант, бросаясь ко мне вприпрыжку, с тяжелым фотоаппаратом на шее, плотно сложенный, тепло закутанный: несколько слоев одежек, и всё коричневое и шерстяное.

– Здравсьте? – ответила я, тоже с вопросительной интонацией.

В это холодное, но погожее декабрьское утро я стояла, выдыхая маленькие облака, у большого утиногo пруда. Мимо, по дорожке, шли люди с собаками. По мелководью мимо нас брели утки.

Меня вдруг кольнуло дурное предчувствие. Где была моя голова?

Музыкант занимается птицами серьезно. А я принадле-

⁵ Лурд – город во Франции, один из крупнейших центров паломничества католиков. Слывет местом чудесных исцелений.

жу к тем осмеянным в «Портландии»⁶ бесчисленным профанам, которые ни черта не понимают в птицах и ассоциируют их преимущественно с красивыми картинками. Мой дом – легкомысленная коллекция безделушек на темы природы: слащавая авторская лампа в виде селезня, стандартный набор плюшевых игрушек, кружки с совушками из магазина Anthropologie. Я погрязла в непростительном антропоморфизме. Антропоапологетике. Вот какие мысли пронеслись в моей голове.

Что я знаю о живых птицах? Что я знаю о мире дикой природы, а этот мир – обо мне?

В детстве я не собирала ягоды в долине, которую проложила река, не бродила по сумрачным лесам, где блестят росинки, не наблюдала за лужами, оставленными отливом на пляже. Приключений у меня в детстве было хоть отбавляй, но не в девственных уголках Канады. А в казино, международных аэропортах и циклопических универмагах.

Мои родители – горожане до мозга костей. Мой отец, уроженец Лондона, журналист-международник, работал в Токио, где и познакомился с моей матерью, японской художницей в стиле суми-э, длинноволосой скромницей; в первый миг она отшатнулась, неприятно пораженная исполинским ростом отца и его неестественной – скелет, да и только – осанкой. Их роман начался на приеме в канадском посоль-

⁶ «Портландия» (Portlandia) – американский комедийный телесериал, где высмеиваются хипстеры.

стве, в густых удушливых клубах табачного дыма. Он влюбился в ее очарование и миловидность. Она – в его искушенность и олицетворенную в нем надежду на побег.

Они поженились, и спустя пару лет работа привела моих родителей в Лондон, где родилась я. А затем другая работа привела их в Канаду. Экзотическую, космополитическую супружескую пару вдруг забросило в тихий квартал в Северном Торонто. Ни тебе Хай-стрит-Кенсингтон, ни Синдзюку – только толстое снежное покрывало. Только неопознанные зверьки, добывающие еду на помойке, и незнакомые пернатые. Отец куда-то мчался по редакционным заданиям, а мать оставалась одна в холодном доме. Тишина полная, никто и ничто не шумит, кроме птиц на улице: по дороге откуда-то или куда-то они распевали хором, им-то вольготно на новой территории. Моя мать не находила ни малейшего утешения во всех этих нотках, зависших в студеном воздухе, во всех этих дорожных песнях. Трудные годы войны она провела в сельской местности в Японии, так что теперь не питала к природе никакой симпатии. Ей нравились кипучие деловые районы, толстый слой лака, наложенный на всё цивилизацией. Она любила пройтись по улице горделивой походкой, в мини-юбке, на шпильках, с сигаретой «Ротманс» в руке – любила производить фурор. Моя мать была красавица и хвалилась, что вскружила голову Мику Джаггеру, Джону Леннону и королю Хусейну – не одновременно, а в разные дни и в разных обстоятельствах. Торонто не произвел на нее особо-

го впечатления. Вместо того чтобы ценить его достоинства, мать выглядывала в обледеневшее канадское окно и видела перед собой только проблемы. Что делать со всем этим говенным снегом? Что делать с этим говенным бельведером?

И вот что она сделала. Когда наступила весна, она перекопала весь задний двор и разбила традиционный японский сад камней – тщательно упорядоченный, наманикюренный ландшафт, который она с монашеской регулярностью разравнивала граблями, вышвыривая фрисби, воланы и бейсбольные мячи, которые залетали через забор из примыкавшего к нему парка. Если уж она вынуждена владеть собственным клочком природы, пусть он будет таким, как угодно ей: мягкий мох, орошаемый поливалкой, и тщательно обрезанные японские деревья. Она проделывала это всякий раз, когда мы переезжали: за семь лет разбила четыре новых сада камней. Расчищала себе граблями дорогу к счастью.

Мать стала коллекционировать произведения искусства и открыла собственную галерею. (Ее собственные работы тушью, написанные в другой жизни – до замужества, остались в Японии, благодаря чему приобрели легендарный ореол.) Я выросла в доме, заваленном бесценными вещами и нелепым хламом, свежеприобретенной антикварной мебелью, памятными вещами посторонних. Наша крохотная нуклеарная семья сделалась отдельной страной с собственными уникальными обычаями, обособлявшими нас от всех.



Музыкант, стараясь развеять мою робость, перезнакомил меня со всеми утками на пруду. Во-он там, сказал он, видите тех уток, которые садятся на воду, точь-в-точь неуклюжие гидросамолеты? Это кряквы. А там вдали, забавное скопление, плавают тесным кружком посреди пруда – видите? Восемь, девять, десять, одиннадцать, и все взбалтывают воду, чтобы корм всплывал поближе к поверхности: утки-широконоски. Указал на одинокого самца, похожего на огромного индюка, только качающегося на волнах: помесь домашней утки с кряквой. Подруга этого селезня, видимо, недавно погибла. Просто вдруг пропала, и, по слухам, кто-то видел ее мертвое тело.

Бывает ли уткам одиноко? Я задумалась над этим вопросом, но ответа не знала. Ничего-то я не знала про уток. Не знала даже про жир, покрывающий их перья, – даже как-то странно, я ведь, наверно, тысячу раз слышала выражение «как с гуся вода», а утки тоже водоплавающие.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.